

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ: «У МЕНЯ ДУРНАЯ СЛАВА...»

АДРЕСА, ЗАГУЛЫ И СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ПОЭТА,
ГЕНИАЛЬНОСТЬ КОТОРОГО РАЗДРАЖАЛА ВСЕХ

Г

Говорят, все когда-то сочинили стихи.

Чуть ли не 90 процентов человечества. Но отчего, отчего же тогда настоящие поэты всегда оказывались считанными единицами любого народа? И отчего их ненавидело большинство, а власть порой безвинно убивала? Вот — вопрос вопросов?..

«Выкорчевывая, уничтожая писателей, власть — любая власть — делает это не потому, что боится их, — ну чем был опасен Манделштам для Сталина? — а потому, что чувствует их абсолютную инородность и за нее их ненавидит, — написал покойный ныне философ и священник Александр Шмеман, которого еще мальчиком родители увезли в эмиграцию. — Выносят только штампы. Отбиди от штампа, и ты — враг...»

Поэта Павла Васильева власть убита в 27 лет. Расстреляли как раз за инородность. Сперва три раза арестовывали в 1930-х, а потом, измученного пытками, вынесли «на руках» в дворцовый домик Лефортовской тюрьмы и прикончили. А через 70 лет поставили ему памятник на родине и повесили мемориальную доску на доме в Москве.

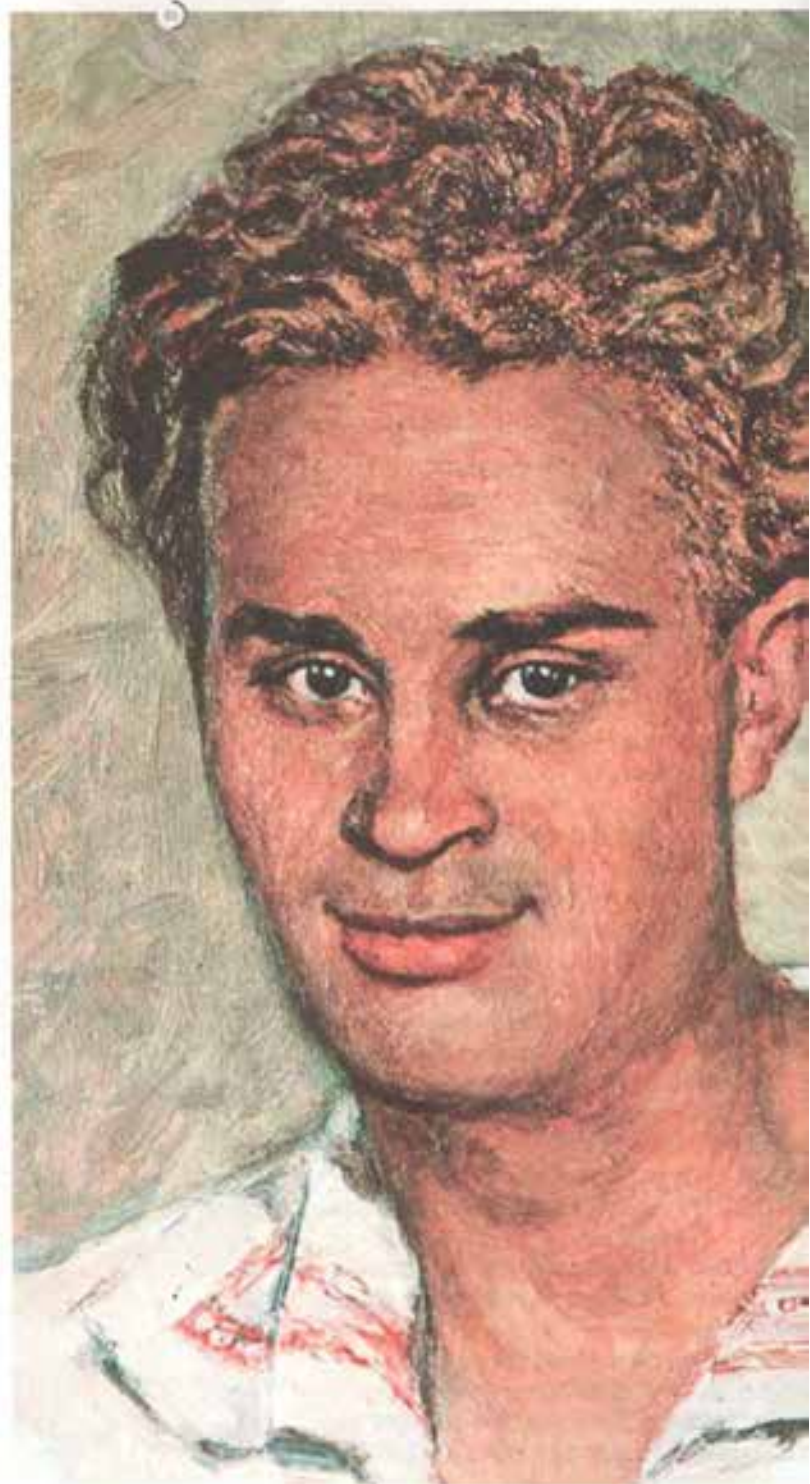
Стихи ведь не расстреляешь.

Иноходец
(Бобров пер., 4)

Он вошел в литературу как нож — в масло. Как свой, как равный. Чертовски красивый, с нимбом курчавой шапки волос, отчаянно смелый, невероятно талантливый и — противоречивый до умопомрачения.

«Синие глаза Васильева, тонкие ресницы были неправдоподобно красивы», — отме-

*1
Павел Васильев.





тет Варлам Шаламов. Другой знакомый скажет службе: «Глаза ярые, поначалу кажутся шалыми, диковатыми, а потом детскими, даже растерянными». И — да! — «хищные глаза», — скажет третий и... третья — мать нынешних Михалковых и Андрона и Никиты. Она, Наталья Кончаловская, вспоминая роман с Васильевым, тоже упомянет о «хищном разрезе зеленоватых глаз» (ей, любовно глянувшей в глубину их, был, конечно, точнее известен их цвет, чем Шаламов!). «Мятежный, дерзновенный, вызывающе-яркий», — скажет о нем критик.

А сам поэт про себя отчеканит: «Я, детёныш пшеницы и ржи... Ну-ка, попробуй, жизнь, оторвать руки мои от своих запястий!»

Не «сын есаула», не «сын кулака», не «пеленчатого казачества», как клеили ему прощания, — сын провинциального учителя мальчишкой, внук пильщика и прачки и праправнук сибирских ушкуйников, он — «звериный», «природный», «нутряной» — не был, конечно, ангелом. Он и донные противоречив. «Выдающийся советский поэт» — да. Но такой ли уж «советский»? — отмечает уже наш современник. — Кроме того, личность весьма подозрительная на взгляд нынешних «демократов». Да, «жертва сталинизма»... Но оправдал ли индустриализацию? Прославлял. Заставил антикулацкие поэмы? Писал. Репутацию «летисемита» имел? Имел...»

Поэт шагнул в июле 1927-го «с корабля на берег». Оттуда — с поезда из Владивостока в... знаменитый «московский вертеп». 17 лет мальчишеской жизни и первый стих о Ленине в 11 лет,



СЫН ПРОВИНЦИАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ, ВНУК ПИЛЬЩИКА И ПРАЧКИ И ПРАПРАВНУК СИБИРСКИХ УШКУЙНИКОВ, ОН — «ЗВЕРИНЫЙ», «ПРИРОДНЫЙ», «НУТРИНОЙ» — НЕ БЫЛ, КОНЕЧНО, АНГЕЛОМ



который стал, вообразите, школьной песней, и первые публикации в сибирских газетах, и первые учителя — прозаик Залубрин и поэт Рюрик Ивнев, который руководил во Владивостоке литературным обществом. Вот к нему, к Ивневу, наш «зудлатый» и пришел в дом. Но беда была в том, что Ивнев буквально млеет от соседки по дому, молодой поэтессы Мальвины Марьяновой, «синеглазки», которую в 17 лет еще «погладил по головке» и благословил «на стихи» Горький, кому Есенин посвящал строки в Петрограде, а уже здесь сам великий Тагор написал книгу: «Милой Мальвине, самой голубой женщине России», имея в виду как раз голубые глаза ее.

*2 С Галиной Анучиной...

*3 ... и фрагмент письма ей.

*4 Бобров переулок, 4. Дом, где всё начиналось...



Вот этот вертеп (тьфу-ты, «литсалон», конечно), куда на «огонек» в 1920-х слетались и часто ночевали «впавалку» Брюсов, Леонов, Каменицкий, Клычков, Шершеневич, Мариненко, Адалис и Рукавишников, Зозуля и Михаил Кольцов, и стал для Павла «воротами в литературу».

Стихи и смешки

Дым коромыслом от заката до рассвета. Поэтесса Адалис нюхала здесь кокаин, «сюсюкала» стихами Сусанна Мар, кто-то пил, кто-то плакал, изливаясь в любви (конечно, к поэзии!), кто-то грозно шумел, кто-то целовался в темном углу. А сама Мальвина, выпустившая уже четыре сборника стихов, шушукалась с Ивневым в другом: как ей «приворожить» одного художника. Ну, ответил он, надо знать, было ли у нее с ним «что-нибудь» или не было. Она схитрила: «Ты мне дай два совета. Один на тот случай, если было, а другой — если не было». А однажды утром, не желая отпускать гостей без завтрака, оговорила: «Я приготовлю чай. Здесь где-то был вчерашний кипяток».

Ее потом так и дразнили. Но если всерьез, то «кипятком» этим и ошпарили сибирского мальчонку...

Он, проучившись немного на литературном отделении рабфака, уедет отсюда в Сибирь и вернется в Москву только в 1929-м, поработав охотником, матросом, старателем на приисках, побогемничав культмассовиком и корреспондентом в газетах (две книги очерков, кстати, «В золотой разведке» и «Люди в тайге» привезет в Москву). Но и усвоив, конечно, главное — ему теперь можно всё.

В Омске оставит свою любовь «милую Калину», Галю Ануцину, ставшую первой гражданской женой и вскоре родившую ему дочь, а здесь сразу заведет несколько романов, в том числе с Зиной Богдановой. Гале писал: «То, что внутри, истерто, как пятак! И все же, знаешь, ведь у каждого есть что-нибудь свое, хорошее... Вот тебя, например, люблю. Понимаешь?» И велел писать



на Боброва пер., 4, первый свой адрес, но, увы, — не первой московской возлюбленной его — Зины Богдановой, про которую Гале не говорил, но которой писал стихи: «Я тебя, моя забава, // Полюбил, не прекословь! // У меня дурная слава, // У тебя дурная кровь. // Мёд в моих кудрях и пепел // Ты ж черна, черна, черна! // Я еще ни разу не пил // Глаз таких — глухих до дна...»

Он даже пытался прописаться у нее, да совралось «предприятие». Но приползал сюда после пьянок и задержаний в милиции аж до 1932 года. Ведь Москва уже ходила под ним ходуном. Он на столицу был один Васильев. И когда увидел как-то в ресторане «София» своего однофамильца, поэта Сергея Васильева, то, убежденный, что тот «порочит фамилию», опрокинул ему на голову яичницу из 9 желтков! Что ж, в итоге летала не посуда со столов — столы, и оба оказались в милиции, где сидел уже третий поэт — Ярослав Смеляков. И представьте, но в кутузке Васильевы помирились, и все трое до рассвета читали друг другу стихи.

Поэты! Ивородцы! Одного расстреляют, другого, Смелякова, не раз и надолго будут сажать в тюрьму, а третий отряхнется и напишет кучу песен (в том числе, помните, «Лучами кричит солнышко стальное полотно...») и песни, где не раз поминет Сталина — «друга народного». Увы, наш «герой» как раз в эти годы и еще до Мандельштама напишет о вожде совсем другой «гексаметр». Зайди как-то в журнал «Красная новь», в ответ «на подначку» приятеля зарифмовать «Шесть условий товарища Сталина» тут же выдаст:

«Ныне, о, муза, воспой Джугашвили, суки на сына. // Упорство осла и хитрость лисы совмстил он умело. // Нарезавши тысячи тысяч петь, насильем к власти пробрался. // Ну, что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне, семи нарисует неразумный!..»

Не просто напишет, всем будет читать экз промт. Говорят, что и Мандельштам, автор будшей эпитафии о вожде, слыша его, «заливался веселым смешком». Только вот дорого обойдётся Васильеву эти смешки.

*5

Палиха, 7/9. Тот дом не сохранился.

*6

Павел Васильев на Селемджинских приисках. 1929 год.





«Я в тебя, прекрасная, влюблен...»
(Палиха, 7/9)

Этот дом на Палихе не сохранился. Здесь с 1932 года жил Павел со второй и тоже гражданской женой Еленой Вяловой, сестрой жены, кстати, большого «литначальника», редактора в газете «Известия», и журнала «Новый мир», Эвана Гронского. Да, жил здесь, в бывшей комнате Гронского, но в стихах, скажу заранее, воспевал дом на Бол. Садовой, где случилась, может, самая скандальная любовь его.

Здесь жил тихо и для него скучновато. Тут у окна прямо в «сиреневый палисад» стоял стол с креслом справа для ночевавших друзей, слева кровать, а на полу — белая медвежья шкура, доставшаяся от летчика Чухновского. Ничего не сохранилось, кроме полутора десятков поэм (три из них написаны в тюрьмах), бесчисленных стихов (кроме, конечно, того чемодана с ними, который он забыл на вокзале и отказался поехать за ним — «напишу новые!») и — немногих писем к женщинам о молодечестве его и... тоске.

«Передо мной сейчас очень широкие перспективы, — пишет подруге юности Ирине Пшемысловой. — И все же порой мне бывает грустно... Я ищу успокоения в вине, в шумных вечеринках, в литературных скандалах». Делаясь «со спелым румянцем», той же Анучиной, торжественно советовал: «Прочитай в «Литературной газете» о моем вечере в «Новом мире». Сейчас на меня здесь страшная мода. Сидит за «Правдой», где будет обо мне статья, — и тут же хвастливо обещал: — Привезу тебе шелк, сапожки и башмачки — я сейчас прикреплен к распределителю Совнаркома». Но в новом письме вновь тоска, злость, комплексы: «Почему я такой нескладный, нелюбимый и несчастный... Везде страх берет. Ну их всех к черту! И жизнь к черту. Когда же наконец смерть выпустит мне глаза и избавит меня от нудной и родной обязанности говорить красивые и гадкие, тонкие и умные слова?»

Списавши влюбленного поэта бесконечные романсы женщинам все семь лет в Москве говорил



ОН ВЕРНЕТСЯ В МОСКВУ ТОЛЬКО В 1929-м, ПОРАБОТАВ ОХОТНИКОМ, МАТРОСОМ, СТАРАТЕЛЕМ НА ПРИИСКАХ, ПОБОГЕМНИЧАВ КУЛЬТАССОВИКОМ И УСВОИВ ГЛАВНОЕ: ТЕПЕРЬ ЕМУ МОЖНО ВСЁ



и красивые, и гадкие слова, и ради них совершал и пошлые, и умные поступки.

«Напраслина, — сказал еще Шекспир, — страшнее обличенья». Но где напраслина, возведенная на него, а где явь — не разобраться. В стихах патристично писал: «Республика, я одного прошу: пусти меня в ряды простым солдатом», а в жизни, бандитски расхаживая в косоворотке да в солдатских красно-коричневых сапогах (подарок, кстати, Гронского), эпатажно, ухарски хулиганил. То на вечере так прочтет стихи, что Пастернак, выйдя за ним на сцену, признается, что «неуместно и бестактно что-либо читать после «блестящих стихов» Васильева», а то, как вспоминал Сергей Малашкин, писатель, купит в магазине коровье вымя, засунет его в штаны, и, увидев красивых девушек, вытащит из ширинки очередной сосок, картинно отрезет

*7
С Ярославом
Смеляковым.
1932 год.

*8
С Алексеем Кручених.
1930-е годы.

*9
С Еленой Вяловой.





10

*10
Садовая, 10.
Дом, дважды попавший
в его стихи.

*11
Анеля Судакевич
в роли Мэри Пикфорд.

*12
П. Кончаловский.
Портрет дочери
в розовом платье.
1925 год.

его ножом и кинет им под ноги. Каково?! То сам Мандельштам вдруг изречет, что в России (идут всего четверо: «Я, Пастернак, Ахматова и Павел Васильев»), а то в одном именитом доме напишет на голой спине у какой-то светской дамы зашредное ругательство, а в другом собрании, да на глазах у всех, подойдет пьяный к известной красавице и, с ревом, «где декольте?!», рывком разорвет одежду.

Приговор Горького (Садовая, 10)

Влюбился в прогрессивную в фильме «Позелуй Мэри Пикфорд» красавицу Анелю Судакевич, которая в 1933-м выйдет замуж за Асафа Мессерера и родит сына — нынешнего театрального художника Бориса Мессерера. Волокнулся за



11

ней неудачно, но это же было, было! Об этом сообщила критикесса Усевич в письме Гале Ануциной («Павел хвалится, что ушел от Елены к актрисе Судакевич»). Следом влюбился в первую московскую красавицу и тоже актрису Голыцину, от которой ушел муж и, наконец, в 1934-м просто потерял голову от девушки в «пунцовом берете», только что вернувшейся из-за границы, где рассталась с мужем, и поселившейся с дочкой у отца — на Большой Садовой, 10. Девушку звали Натальей, а отца ее, знаменитого живописца, Петром Кончаловским. Сама Садовая, вообразите, даже дважды попала в стихи его: сначала первым упоминанием «и едва ль на улице Садовой // Равную тебе найдешь...», а затем в знаменитом цикле его «К Наталье», где 24-летний поэт зарифмовал: «Все еще, покуда бедный, // Норовлю на улице Садовой // Отыскать твое окно в свету...»

Не был еще в квартире ее, не знал, что окно выходило в дворовый флигель знаменитого нынче дома, где жил тогда Михаил Булгаков и где, в квартире художника Якулова, Есенин, кумир Васильева, десять лет назад познакомился с Айседорой. Есенин, к слову, боготворил, хотя и заметил как-то: тот «свои образы брал по ягодке, а мне нужно чтоб сразу горсть...»

Наталья — поэтесса, переводчица, будущая детская писательница, которую к концу жизни наградили орденами «Знак почета» и «Дружбы народов», и, как я уже говорил, мать двух знаменитых сыновей, тогда, в 1934-м, вернувшись из Америки и разведясь с первым мужем, шила на продажу дамские шляпки по «парижским лекалам» и вовсе веселилась, вмиг став «некоронованной королевой бомонда». Умна, родовита, талантлива, обаятельна, она кружила головы всем, а наш «баловень женщин» — просто пропал. В стихах был смел до неприличия, раздевал, писал про золотистые «ядра груди» и «телесный избыток», восславлял «свадебную ночь» и «долгий стон» ее, но в жизни, претендуя на все, был дважды избит из-за нее.

По первости как раз за «стихотворные намеки» на связь, из-за которых Наталья устроила ему «публичный скандал», а он... влетел ей пощечину.



12

«Я была в ударе, танцевала, шутила, пила шампанское, — вспомнит, — и вдруг Павел <...> почему-то пришел в безумную ярость. То ли выпил лишнего, то ли взяла его досада на мою «неприступность», но он вдруг с размаху ударил меня и с перекошенным побелевшим лицом выбежал из квартиры...» Вот тогда его и избил, и он всю ночь простоял на коленях у квартиры влюбленной, вымаливая прощение. Для нее все было кончено, хотя через годы она и назовет его стихи и «откровением», и «настоящим чудом». Ведь это о ней он написал признанные шедевром строки про «красавицу», которая «Так идет, что ветви зеленеют, // Так идет, что соловьи чумеют, // Так идет, что облака стоят...»

Да, для нее кончилось все, а вот для него все только начиналось. Он вступится за Наталью в «компании» Джека Алтаузена и, избив того в кровь (да еще с антисемитскими выкриками), будет избит и сам. Вот тогда, 14 июня 1934 г., и появится в «Правде» статья Горького «Литературные забавы», где были слова: «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин... Если он действительно является заразным началом, его следует как-то вакцинировать».

И — конец абзаца: «от хулиганства до фанатизма расстояние «короче воробьиного носа».

Да, Пастернак при встрече с Павлом пожал ему руку и демонстративно громко сказал: «Здравствуй, враг отечества!», но поэт в момент стал изгоем, «заклятым врагом власти» (Ставский), «хулиганом и контрреволюционером» (Ларионов), «открыто кулацким поэтом» (Святослав-Мирский). Через год его исключат из Союза писателей и перестанут печатать. А Горький, тем же, он еще пожалеет о сказанном, да будет поздно.

«Поэт с серебряной трубой...»
(4-я Тверская-Ямская, 26/8)

Лежачего не бьют — закон драки, он знал его. Только убили его как раз лежачего. Вынесли из камеры с седой головой — это в 27 лет-то! — с переломанным позвоночником и вытекшим глазом, вынесли — и расстреляли. Пытали так, что показания его под протоколами (их видел поэт Шендеровский) превратились «просто в дичину». А пепел сбросили потом в безмявную яму на Донском кладбище.

Вообще-то он должен был лежать на Новодевичьем, замурованным в той стене, на которой раскинул крылья самолет-гигант «Максим Горький». Поэт сдал на строительство его весь очередной гонорар и как почетный гость был приглашен с женой на показательный полет, да облететь, опоздали на взлет. Кстати, он и вообще был невероятно щедр. Получив гонорар, лег и предлагал «собратьям по перу безвозмездную помощь», приговаривая: «Вернешь словами», и, улыбаясь, проезжая в машине с той же Еленой



*13
После освобождения,
1932 год.

*14
Иван Гронский.

*15
4-я Тверская-Ямская,
26/8.



ЛЕЖАЧЕГО НЕ БЬЮТ — ЗАКОН ДРАКИ, ОН ЗНАЛ ЕГО. ТОЛЬКО УБИЛИ ЕГО КАК РАЗ ЛЕЖАЧЕГО. ВЫНЕСЛИ ИЗ КАМЕРЫ С СЕДОЙ ГОЛОВОЙ — ЭТО В 27 ЛЕТ-ТО — С ПЕРЕЛОМАННЫМ ПОЗВОНОЧНИКОМ





мимо работавших в какой-то канцелярии «экскаватор», велел остановиться, подозвал одного и вынул из его почти 3 тысячи, которые приготовил для матери. Вялова запомнит: он, обернувшись, долго смотрел на арестантов и «о чем-то напряженно думал». Чувл, предугадывал судьбу...

Первый раз его арестовали в 1932-м. Арестовали с поэтами Ановым, Забелиным, Марковым и, вообразите — с Леонидом Мартыновым. Дело «Сибирской бригады», «контрреволю-

«аморально-богемских», «политически-реакционных» выступлений его, о драке с Алтаузенем и «утрозах расправы с Асеевым и другими», об «оголтелом хулиганстве фашистского пошиба» и главное — о «процветании всяких «салонных» и «салончиков», фабрикующих непризнанных гениев», он повил, все закручивается куда серьезней. Конечно, его и в стихах обещали «прибить» (тот же комсомольский поэт М. Голдин рифмовал: «Смотри, как бы нам тебя не пришить», но тут под письмом, кроме него, распались Прокофьев, Луговской, Сурков, Инбер, Карсанов, Саянов, Уткин, Безыменский, даже друг Васильева — Борис Корнилов, которого тоже вскоре расстреляют. И все требовали «репрессивных мер» против... «мнимого таланта».

Покаяние Горького

15 июля, через полтора месяца после письма, «мы с Павлом пришли в суд, — пишет Елена Вялова, его «Елка». — Помню лишь приговор: «бесчисленные хулиганства и пьяные дебоши» — полтора года лишения свободы». В тюрьме, сначала в Электростали, потом в Рязани, поэт напишет, вообразите, три поэмы — «Принц Фома», «Женихи» и первую часть «Христоробовских ситцев». И — два покаянных письма Горькому. Писал, что «позорная кличка «политический враг» является для него «литературной смертью», что после слов «аморальный, отвратительный, фашистский» он сам себе кажется «какой-то помесью Махио с канарейкой...». Жаловался: «В Ваших глазах я, вероятно, похож сейчас на того северного мальчишка, который кричит «не буду, дядя», когда его секут, но немедленно возобновляет свои пакости... Выпил несколько раз. Из-за ерунды скандалил... Вот уже три месяца я работаю в ночной смене... Мы по двое таскаем восьмипудовые бетонные плахи из леса... Я не хныкаю... но зверская работа ест меня живо. Зачем мне так крутят руки?»

Каялся и другу: «Ей... богу... ну право же, честное-честнейшее слово, тот дебошир Васильев — не я... Я делал глупости, а подхалимы ржут и визжат от восторга: «Браво, Пашка!» Если бы я совершил какое-нибудь страшное



НА ЛУБЯНКЕ ВОВСЮ КИПЕЛА РАБОТА НАД НОВЫМ ДЕЛОМ О ГРУППЕ ПИСАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С «ПРАВЫМИ ТЕРРОРИСТАМИ», И ЯКОБЫ УБИЙСТВО СТАЛИНА БЫЛО ПОРУЧЕНО ИМЕННО ВАСИЛЬЕВУ



ционной группы», воспевавшей якобы Колчак и «выступавшей за Белую Сибирь». Сам Ягода подписывал ордера. Всех этапом отправили на 3 года в Северный край. А Павла вдруг «освободили условно», хотя даже в деле сохранились записанные следователем на допросах эпитаграммы его: «Рыдают Галилеи в Нарсудах, // И правда вновь в смиренных рубашках». Вытащил поэта из изолятора ОГПУ отметивший его «великий талант» Иван Гронский, тогда редактор и «Нового мира», и «Красной нови». «Добрый гений» поэта Гронский (его потом тоже арестуют!) вступится за него и после второго ареста — после статьи Горького, исключения из Союза писателей и той драки с Алтаузенем. Сам-то поэт поначалу отнесся к этому легкомысленно, распевал всюду стишок: «Выпил бы я горькую, да боюсь Горького, Горького Максима, ах, невьюсимо!»

Но когда 24 мая 1935 года та же «Правда» напечатала открытое письмо 20 возмущенных литераторов, в котором прямо говорилось об

* 16

Титульный лист единственного прижизненного поэтического сборника.

* 17

Иллюстрация к поэме «Соляной бунт».

* 18

Фотография из следственного дела.



преступление, ну, скажем, убил человека, — они варевели бы: «Гениально!»... Так вот, запомни: с ним будет покончено раз и навсегда». А своей «Елке» слал стихи отчаяния: «Не добраться к тебе! На чужом берегу // Я останусь один, чтобы песня окрепла. // Все равно в этом тиблом, пропащем снегу // Я тебя дорисую воть дымом, хоть пеплом...»

Горький же пожалел о своем «окрике», когда чуть не поссорился с Гронским. Обедали вместе с Алексеем Толстым, и Гронский спросил классика: «А стихи вы его читали?» — «Мало, — буркнул тот. — Так, кое-что». И пока Гронский жутукался за поэта, Толстой, выйдя из-за стола, вернулся с пачкой журналов и, сказав: «Ну что вы ссоритесь?!», стал читать чьи-то стихи. — «Кто, кто это? Что за поэт?» — пробасил Горький. И Толстой, перегибаясь через стол, сказал: «Это Павел Васильев, которого вы обругали», — и передал ему журналы. Горький дочитал и, как вспоминает Гронский, налил себе виски: «Неловко получилось, очень неловко...»

Гронский вытаскивает его из тюрьмы. Оказывается, на каком-то приеме в Кремле к нему подходит Малогов и спросит, почему он не печатает стихов Васильева? «Он в тюрьме сидит». — «Как в тюрьме?» — «Вот так, — отвечаю, — как у нас люди сидят...» И поэта «через три дня освободят».

Развязка

Увы, не в коня корм? Да и можно ли «иностранным-иноходным» изменить природу, замешанную на правде? Он и после освобождения не научился молчать. И когда началась травля Бухарина, «человека высочайшего благородства», обрушился на писателей, ставящих свои подписи под антибухаринскими выступлениями («Это, — выкрикнул, — порнографические каракули, на полях русской литературы»), и всегда, читая о детях, отрекавшихся от отцов, вдруг сказал одному поэту за другим, отнюдь не «эстетическим столом»: «Ну и детки от первой пятилетки! Только и слышишь: каюся да стрекочусь. А я вот нарочно распустил слух про себя, что, дескать, сын степного прасола-миллионщика, а не учителя. В пику продажным душам! Когда предательство отца объявляют герасимом — это уже растление душ».

И варить ведь смотрел в будущее, ведь мы сами скажем это через десятилетия.

В последний раз его арестуют «как полуживого» — подхватят вьюжным вечером у парикмахерской на Арбате, закинут в машину и увезут. На Лубянке в феврале 1937-го как раз совсем кипела работа над новым делом о группировке писателей, связанных с «правыми террористами». И якобы убийство Сталина поручено было именно Васильеву. Четыре месяца чудовищных пыток и в «Деле № 11245» появилось, конечно же на последнее чудо, покаянное пись-



*Неужель правители не знают,
Принимая гордость за вражду,
Что пенькой поэта пленяют,
Руки ему крутят на беду?..
Песнь моя! Ты кровью покормила
Всех врагов. В присутствии твоём
Принимаю звание грамилы,
Если рокот гуслей — это гром...*

мо поэта главе НКВД Ежову: «Начиная с 1929 г... оказался в среде врагов Советской власти. Меня взяли под опеку... сделали меня политически черной фигурой, пользуясь моим бескультурьем, моральной и политической неустойчивостью и пьянством... Я дождался до такого позора, что шайка террористов наметила меня как орудие для выполнения своей... преступной деятельности. Однажды летом 1936 г. мы с Макаровым сидели в ресторане. Он прямо спросил: «Пашка, а ты бы не струсил пойти на совершение террористического акта против Сталина?» Я был пьян и ухарски ответил: «Я вообще никогда ничего не трушу, у меня духу хватит». Мне сейчас так больно и тяжело за загубленное политическими подлецами прошлое и все хорошее, что во мне было...»

* 19

Памятник Павлу Васильеву в Павлодаре.



16 июля 1937 года, по списку с подписями Сталина, Кагановича, Ворошилова, Жданова, Микояна и Лесфортова расстреляли его и поэтов Михаила Герасимова и Бориса Корнилова. Убиты и тех, кого Васильев «выдал» под пытками: Клычкова, Клюева, Наседина, Карпова и Макарова. Через год арестуют Елену Валову (18 лет тюрем, лагерей и ссылки), через два — брата поэта (10 лет) и престарелого отца (он умрет в лагере в 1940-м). А в 1956-м, когда их всех реабилитируют, Пастернак, поставив Васильева рядом с Маяковским и Есениным, скажет о нем: «Молодой, талантливый, независимый, он пришел не ко двору, а точнее, не к режиму...» Остались стихи, которые ни кулаками, ни пытками, ни даже пулями не убить: *Моя республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдаю столица,
Всего себя, ни капля не спрятаю.*